

ПУШКИН – БОБРОВ – ОВИДИЙ (О НАЧАЛЬНЫХ СТРОФАХ ГЛАВЫ ВОСЬМОЙ “ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА”)

© 2007 г. В. Л. Коровин

В статье устанавливаются литературные источники начальных строф главы восьмой “Евгения Онегина”, повествующих о “превращениях” Музы Поэта. Это не только “Скорбные элегии” Овидия, но и, как показывает автор, автобиографическое вступление к поэме С.С. Боброва (1763–1810) “Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец” (1807–1809).

The article establishes literary sources of the opening strophae of the 8th chapter of “Eugene Onegin” relating the “transformation” of the poet’s Muse. As the author demonstrates, they turn out to be not limited to Ovid’s “Tristia”, as it is usually believed, but include as well the autobiographical introduction to S.S. Bobrov’s (1763–1810) poem “The Ancient Night of the Universe, or An Itinerant Blindman” (1807–1809).

Восьмая, заключительная глава романа “Евгений Онегин” начинается известным автобиографическим отступлением:

В те дни, когда в садах Лицея

Я безмятежно расцветал... [1, т. VI, с. 165–167].

Это, по точному выражению В.К. Кюхельбекера, “история знакомства Поэта с Музой” [2, с. 101], ретроспективное описание им своего творческого пути, своеобразное подведение итогов¹. Причем, как остроумно заметил В.В. Набоков, тема этих строф “не столь биографическая, сколь библиографическая” [4, с. 65]: Пушкин прямо или вполне прозрачно говорит о своих лицейских стихах (I строфа), об их встрече “светом” и одобрении Державина (II строфа)², о петербургской вольнолюбивой лирике, восторженно принятой “молодежью минувших дней” (III строфа), о романтическом творчестве периода южной ссылки, “Кавказском пленнике” и “Бахчисарайском фонтане” (IV строфа), о “Цыганах” и центральных главах “Евгения Онегина”, действие которых происходит в русской провинции

¹ Ю.М. Лотман писал, что в этих строфах исторический подход переносится поэтом и на оценку своего творческого пути и соответственно излагается «история своей Музы, смена периодов творчества, читательской аудитории, жизненных обстоятельств, образующие единую эволюцию. <...> Рассматривая свой творческий путь, Пушкин устанавливает место в нем “Евгения Онегина”, определяет отношение романа к южным поэмам и “Цыганам”. При этом восьмая глава оказывается не только сюжетным завершением романа, но и органическим итогом и высшим моментом всего творчества» [3, с. 704].

² В окончательном тексте романа из II строфы были выпущены 10 строк, имевшиеся в белой рукописи, где, кроме Державина, были названы И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин (“быта русского хранитель”) и В.А. Жуковский (“идол девственных сердец”) [1, т. VI, с. 621].

(V строфа) [3, с. 705–711], и, наконец, подводит к месту действия последней главы романа:

И ныне Музу я впервые

На светский раут привожу... [1, т. VI, с. 167]

Казалось бы, автобиографическая (и “библиографическая”) конкретность содержания этих строф исключает наличие постороннего литературного образца³. Однако в целом тема “истории знакомства Поэта с Музой” ощущается как “общее место”. Так, Н.О. Лернер давно заметил, что интересующие нас строфы “навеяны Пушкину Овидием” и даже «построены по образцу 10-й элегии IV книги его “Tristium”» [5, с. 91]. Овидий здесь последовательно рассказывает об отрочестве, когда впервые ощутил непреодолимую тягу к стихотворству, об отношениях со старшими поэтами, об своем раннем признании среди молодежи и, наконец, о ссылке, в которой Муза доставляет ему утешение. “Нетрудно заметить, – заключает исследователь, – и тождество в расположении частей этих поэтических автобиографий Пушкина и Овидия, и одинаковость некоторых подробностей, и даже совпадение кое-каких отдельных выразительных у обоих поэтов” [5, с. 92–93].

Это, в общем, правдоподобное наблюдение нуждается в уточнении. Во-первых, элегия Овидия действительно изобилует автобиографическими подробностями (об отце, родственниках, трех браках, умершем сыне и др.), а у Пушкина есть *только* “история знакомства с Музой”. Во-вторых, Овидий не дает понять, о каких своих со-

³ Речь не идет об отдельных реминисценциях, отмечавшихся комментаторами, – из “Прогулки в Сарском селе” Г.Р. Державина (“Весной, при кликах лебединых...”) [3, с. 705] или “Вакханки” К.Н. Батюшкова (“И вдаль бежал... Она за мной...”) [4, с. 533], а также об автореминисценциях – из “Демона” (“В те дни, когда...”) и др.

чинениях он говорит, а указания Пушкина вполне определены. В-третьих, Овидий пишет из ссылки, жалуется на ее тяготы и просит о помиловании (как и в других “Скорбных элегиях”), а для Пушкина его изгнание уже в прошлом и является предметом осмысления, а не переживания. Он именно подводит итоги творческого пути, чего Овидий почти не делает, и вступает на новое, важнейшее поприще, что для Овидия в его положении немислимо. То есть, связь пушкинских строф с элегией римского поэта представляется отдаленной и, как нам кажется, опосредованной.

Поэтическая автобиография, подобная пушкинской, есть в сочинениях русского поэта, имя которого в сознании автора “Евгения Онегина” ассоциировалось с югом России, собственной ссылкой и изгнанником Овидием. Это Семен Сергеевич Бобров (1763–1810), автор поэмы “Таврида” (1798; во 2-й ред. “Херсонида”, 1804), который почти девять лет (1791–1799) провел в неофициальной ссылке на юге России (Крым, Херсон, Николаев) (о нем см. [6, с. 224–246; 7] и др.). Ему принадлежит “баллада” “Могила Овидия, славного любимца Муз” (1798), в которой современный “унылый певец” беседует с “тенью Назона”, рассказывающей о своем незаслуженном изгнании и безвестной смерти среди “чуждого народа”. Заканчивается “баллада” выделенным из основного текста двестишием:

Судьба! – ужли песок в пустыне

Меня засылет так же ныне? [8, ч. II, с. 135]

Таким образом, усмотрев аналогию между судьбой изгнанника Овидия и своей собственной, Бобров первым из русских стихотворцев сделал из нее поэтическую тему и явился в этом непосредственным предшественником Пушкина, которому “баллада” “Могила Овидия” была хорошо известна и, между прочим, отразилась в “Евгении Онегине”; именно к ней, по наблюдению М.Г. Альтшуллера [6, с. 244], восходит примечание о месте ссылки Овидия, имевшееся в отдельном издании первой главы (1824)⁴.

⁴ Бобров располагает могилу Овидия в устье Дуная и дает примечание: “Весьма достоверно, что Овидий погребен в сей стороне; ибо *Темесвар* есть тот самый древний *Томитанский* город, о коем он так часто упоминает в элегиях своих” [8, ч. II, с. 128]. Пушкинское примечание (к строке “В Молдавии, в глуши степей...”) весьма близко к этому тексту: “Мнение, будто бы Овидий был сослан в нынешний Акерман, ни на чем не основано. В своих элегиях *Ex Pontu* он ясно назначает местом своего пребывания город *Томы* при самом устье Дуная” [1, т. VI, с. 653]. Как и Боброву, Пушкину дорога не историческая точность, а мысль о том, что он сослан в те же края, где страдал Овидий. Вполне вероятно, что к “балладе” Боброва восходят упоминания “гени Назона” и “Овидиева праха” в пушкинских стихотворениях “Чаадаеву” (“В стране, где я забыл тревоги прежних лет...”) (1821), “Баратынскому. Из Бессарабии” (1822) и “К Языкову” (1824).

В романе есть также аллюзии на поэму “Таврида”, самое известное сочинение Боброва, которое Пушкин читал в период работы над “Бахчисарайским фонтаном”⁵. Еще П.О. Морозов [13, с. 289] (ср. [14, с. 380; 15; с. 280–281; 4, с. 516]) обратил внимание на следующие строки Боброва:

О миловидная Зарена! –

Все звезды в севере блестящи,

Все дочери севера прекрасны;

Но ты одна средь их луна,

Твои небесны очи влажны

Блестят – как утренние звезды... [16, с. 71]

Ср. в “Евгении Онегине” (глава 7, строфа LII):

У ночи много звезд прелестных,

Красавиц много на Москве,

Но ярче всех подруг небесных

Луна в воздушной синеве.

Но та, которую не смею

Тревожить лирою моею,

Как величаяя луна,

Средь жен и дев блестит одна. [1, т. VI, с. 161]

К этим стихам находились и другие параллели (в оде В.П. Петрова [17, с. 63], повести Н.М. Карамзина [18, с. 129–130], элегии М.Л. Яковлева [4, с. 516]). Недавно была указана еще одна параллель – в “Науке любви” Овидия: “*Quot coelum stellas, tot habet tua Roma puellas*” (I, 59; перевод: “Сколько на небе звезд, столько в твоём Риме молоденьких девушек”) [19, с. 37–39]. Однако она относится лишь к первым двум строкам, но не в целом к сравнению “звезды – красавицы, луна – возлюбленная”. Это сравнение восходит именно к бобровской “Тавриде” (там оно находится на одном развороте со стихом, который однажды “ввел в искушение” Пушкина⁶), а Бобров в свою

⁵ “Таврида” дважды упоминается в письмах Пушкина к брату Льву от 27 июля 1821 и 24 января 1822 г. [1, т. XIII, с. 30, 35]. Она входила в круг литературных источников “Бахчисарайского фонтана” [9, с. 121–122; 10, с. 50] (об известном “похищении” из нее см. примеч. 6); с ней связаны стихотворение “Чаадаеву” (“К чему холодные сомненья?..”) (1824) и незавершенная пушкинская “Таврида” (1822) [11, с. 82–84]; поздний отголосок находится в заключительных строках “Осени” (1833) [12, с. 142].

⁶ В письме к П.А. Вяземскому от 1–8 декабря 1823 г. Пушкин отвечал на его замечание об одном выражении в “Бахчисарайском фонтане” (“Под стражей хладного скопца // Стареют жены...”): «Меня ввел в искушение Бобров: он говорит в своей “Тавриде”: *Под стражею скопцов гарема*. Мне хотелось что-нибудь у него украсть, а к тому же я желал бы оставить русскому языку некоторую библиейскую похабность» (1, т. XIII, с. 80). Ср.: “Иль заключенные сидят, // Как бы Данаи в медных башнях, // Под стражею скопцов в Гаремах” [16, с. 70]. Этот эпизод обсуждался неоднократно, но еще не было замечено, что Бобров перефразирует стихи из “Науки любви” Овидия (III, 415–416; перевод М.Л. Гаспарова: “Скрой Данаю от глаз, чтобы дряхлою стала старухой // В башне своей, и скажи, где вся ее красота?” [20, с. 193]).

очередь заимствовал его у Сапфо⁷, Его “Таврида” оказалась, по крайней мере, посредником между стихами Овидия и Пушкина. Эта ее роль неувидительна, поскольку Бобров ввел в свою поэму множество цитат из Овидия и неоднократно в примечаниях ссылался на “Скорбные элегии” и “Письма с Понта”, на что Пушкин едва ли мог не обратить внимания.

Смысл же обращения Пушкина к стихам архаичного для него автора можно прояснить, указав на одну еще незамеченную реминисценцию из “Тавриды” в “Евгении Онегине” (глава 3, строфа XXII):

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели прородной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда. [1, т. VI, с. 61]

Цитату из “Ада” Данте (III, 9), являющуюся расхожим выражением [22, с. 442–444]; (ср. [3, с. 619–620]), Пушкин прокомментировал сам: “Lasciate ogni speranza voi ch'entrare. Скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха” [1, т. VI, с. 193]. Этим примечанием подчеркивалась двусмысленность, почти неуместность в таком контексте стиха Данте. Оставив без перевода вторую его половину, Пушкин обходит непристойность, но не дает остаться ей незамеченной. Он демонстрирует изящество и чувство меры, свойственные карамзинистской культуре и, что молчаливо подразумевается, несвойственные ее оппонентам. К их числу принадлежал и Бобров, высмеянный в ходе споров о языке 1800–1810-х гг. под именем “Бибруса” как ученый педант, пьяница и “сумбуротворец”, не имеющий “вкуса”⁸. Пушкин находил у него образцы “библейской похабности” (см. примеч. 6), т.е. “безвкусицы” с карамзинистской точки зрения.

Бобров действительно давал поводы для таких обвинений. Например, А.А. Крылов, опубликовавший разбор его поэмы в “Благонамеренном” за 1822 г. (и несомненно известный Пушкину), отметил “неблагородство некоторых мыслей и вы-

ражений, простирающееся иногда до отвратительного цинизма” [26, с. 463]. Имелось в виду сравнение счастья с блудницей:

Как молния, летит оно
И слепо на главу падет;
.....
И на кого же? – на раба,
Кому, – как страстная блудница,
Слепою жертвуй любовью,
Дает свою бесстыдну руку,
Роскошно разверзает лоно. [8, ч. IV, с. 275]⁹

“Известно, – пояснял А.А. Крылов, – древнее сравнение Фортуны с женщиною знатного рода, которая иногда и рабов удостоивает своей благоклонности; Бобров повторил ту же мысль, но словами, почти неблагопристойными” [26, № 12, с. 464]. Иначе говоря, Бобров обнаружил отсутствие “вкуса” и чувства меры – даже на взгляд благожелательного к нему критика.

“Вкус” и чувство меры должны были руководить автором, в частности, в решении вопроса об уместности той или иной цитаты в определенном контексте. Бобров и здесь явил пример того, как не следует поступать. В “Тавриде” стихам о скопцах, “украденным” для “Бахчисарайского фонтана”, непосредственно предшествуют следующие стихи:

Их Гурии прелестны, – правда;
Но розы уст, багрец ланит
И алебастровые груди
Под кисеею погребают,
И возраст часто сокрывают
В своей ревнующей Симаре;
Хотя бы семьдесят лет было,
Но их морщины б утаили
Под Анатольской Аладжей
Стенящу надпись: – *Помни смерть!*
А вместо бы того вешали: –
Не ошибись, молодой Мурза!
Иль заключенные сидят,
Как бы Данаи... [16, с. 69–70]

Переключка со стихами “Евгения Онегина” очевидна: предельно серьезная “надпись”, рисуемая “морщинами” (ср. “над их бровями”), возникает в игривом, в общем, контексте. Однако если Бобров, вводя “стенящу надпись”, отчасти – намеренно или нет – дискредитирует ее серьезность, то Пушкин сохраняет равновесие на самой грани между лиризмом и непристойностью и не роняет достоинство “славного стиха” Данте, пусть даже

⁷ Ср.: “Звезды близ прекрасной луны тотчас же // Весь теряют свой блеск, едва лишь // Над землей она, серебром сияя, // Полная, встанет” [21, с. 336] (перевод В.В. Вересаева). Боброву принадлежат четыре перевода из Сапфо [7, с. 233–235, 243–244].

⁸ О литературной репутации Боброва в кругу карамзинистов см. [23, с. 32–37; 24, с. 220–235; 7, с. 134–146]; об эволюции отношения Пушкина к его творчеству см. [25, с. 47–58; 7, с. 147–154].

⁹ А.А. Крылов разбирал “Херсониду” – 2-ю редакцию “Тавриды”. В 1-й редакции есть небольшое разночтение: “Дает свою роскошную руку // И разверзает нежно лоно” [16, с. 260].

не имеющего отношения к теме строфы романа¹⁰ и “прозвучавшего”, по выражению исследователя, “в пародийном ключе” [28, с. 60]. “Архаист” Бобров, лишенный чувства меры, оказывается побежден в своеобразном поэтическом состязании. Для нас особенно существенно, что в указанных стихах “Тавриды” он явно пытался обыграть стихи Овидия, угрожающего несговорчивым красавицам старостью – морщинами и сединой (*Ars amandi*, III, 69–80), а далее, переходя к “Данаям”, фактически его процитировал (см. примеч. 6). Вообще, весь этот отрывок – от “гурий” до “звезд севера” и “луны” (около 60 стихов) – написан по мотивам “Науки любви”, хотя не без некоторой полемики. Может быть, этим он и заинтересовал Пушкина, который трижды (!), причем в разное время, его использовал: в “Бахчисарайском фонтане” (весна 1821–1823), в третьей главе “Евгения Онегина” (февраль–октябрь 1824) и в седьмой главе (август 1827–ноябрь 1828). И всякий раз – в эротическом контексте, что объясняется прямой связью стихов Боброва с “Наукой любви”. Пушкину эти стихи, вероятно, казались неуклюжими и смешными (особенно на фоне Овидия), но достаточно выразительными, чтобы их “украсть”, используя в принципиально иной, “гармоничной” поэтической системе. Он словно бы исправляет, “гармонизирует” моралиста Боброва, поварварски обошедшего с певцом “науки страсти нежной”.

Нечто аналогичное, на наш взгляд, имело место и в начальных строфах восьмой главы “Евгения Онегина”. Они построены по образцу автобиографического стихотворного вступления к поэме Боброва “Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец” (Ч. 1–2. СПб., 1807–1809). Эту поэму он рассматривал как свое итоговое, главное произведение, поэтому и поместил в самом ее начале поэтическое обозрение своего творческого пути. Приводим этот текст полностью:

<1>

Прешли часы очарований,
Когда восстав моя душа
С крылами бурными желаний
И чуждым воздухом дыша,
Подобно страннице, парила
Вокруг холмов волшебных тех,
Где воцарялся сонм утех,
Где их Эфирный зрак ловила
И, столько времени гонясь,
Мечту едину находила,
Где пастыря свирель твердила,
Под благовонными тенями

То мирные любви часы,
То под унылыми кустами
Вздыхала о судьбе красы; –

<2>

Или, – как ратница во шлеме,
Среди полей кровавых мчалась,
Где бурна с смертью рыщет брань,
Где черноперый сидя вран
На раздробленном громом пне
Ужасны вести возглашает,
Где гладом серый зверь призван,
Огнисты взоры меща, воеет
И в прахе гробы трупов роет; –

<3>

Или, – как узница в дремоте,
Смеясь оковам тяжким плоти,
Взлетала гордо до небес,
Теснилась в сизых облаках,
И, солнечных ища колес,
Томила, – и, спустясь, почила
На высоте *Киммерских* гор,
Смеющихся времен седминам,
Иль за туманны их отроги
Цепляясь, с содроганьем зрела
Перунов рдяну колыбель,
Иль с тайным трепетом висела
На некоем челе утеса,
Смотрящем грозно в черну бездну; –

<4>

Или подобно одноборцу,
Втеснясь в ристалище блестяще,
Искала плесков и венцов;
Но сретив сети ухищренья,
Своекорыстья, крамолы,
Боролась с жребием упорным,
Теряла силы вне себя
И претерпела горьки раны; –
Потом – врагам своим простила
И век себя в себе сокрыла. –
Прешли, прешли сии часы
Очарования души...

<5>

Уже зовут ее иные,
Важнейши поприща к полету... [29, с. 17–18]

Эти стихи написаны в присущей Боброву барочной манере – “темно” и загадочно, то есть требуют комментариев. Он говорит не просто о житейских обстоятельстве, а именно о своем творческом пути: “душа” здесь вполне соответствует пушкинской “музе”. В 1-й строфе речь идет об увлечении Боброва английской описательной поэзией (среди излюбленных им сочинений были “Удовольствия воображения” М. Эйкенсайда и

¹⁰ Тематика пушкинской строфы связана с Овидиевой “Наукой любви”: чуть ниже, в строфе XXV третьей главы романа, находится прямая аллюзия на нее (*Ars amandi*, III, 473–497) [27, с. 227–230].

“Времена года” Дж. Томсона) и о его собственных опытах в идиллическом роде; во 2-й – о его многочисленных одах на сражения в русско-турецкой и русско-шведской войнах 1787–1791 гг.; в 3-й – о написанной в южной ссылке поэме “Таврида” (в ней среди современников наибольшей известностью пользовались гимн Творцу, воспетый на вершине Чатырдага, и описание “грозы над Таврическими горами”); в 4-й – о выходе в 1804 г. четырехтомного собрания сочинений Боброва “Рассвет полночи”, который вызвал ряд восторженных откликов, но в целом, кажется, не был принят публикой (возможно, здесь он также вспоминает о своей попытке в 1805 г. выступить с особым мнением в начинавшихся “спорах о языке” [30, с. 168–322]). И вот, “исчислив” свои прежние сочинения, Бобров в 5-й строфе начинает “важнейшее поприще” – приступает к созданию религиозно-философской эпопеи. Все это вступление, как и пушкинское в восьмой главе романа, можно назвать “библиографическим”.

Как и Пушкин, Бобров говорит о смене периодов творчества, реакции читательской аудитории, указывает на главные свои произведения и намекает на некоторые жизненные обстоятельства. Начало 3-й строфы (“Или, – как узница в дремоте...”) является прикровенным напоминанием о южной ссылке Боброва, когда он беседовал с “тенью Назона” и сочинял “Тавриду”, “взлетая гордо до небес”, хотя на поверхности – аллегория духовного состояния поэта. Пушкин так же начинает IV строфу о своей южной ссылке (“Но я отстал от их союза // И вдалеке бежал...”). Известно, что в романтической поэтике “бегство и политическое изгнание... являются синонимами” [3, с. 709], и намек поэта читателя, в особенности знакомые с его биографией, понимали легко, хотя как будто бы речь шла об интимных, душевных обстоятельствах автора. И завершающие эту романтическую строфу стихи (“Глубокий, вечный хор валов, // Хвалебный гимн отцу миров”) тоже соответствуют возвышенно-религиозному настрою 3-й, “изгнаннической” строфы Боброва.

Однако этими частными совпадениями дело не ограничивается. Гораздо важнее сходство в построении, в развертывании поэтической автобиографии у Пушкина и Боброва, в ее внутренней логике. Каждая из рассматриваемых строф восьмой главы “Евгения Онегина” (за исключением короткой II строфы, где упомянут Державин) находит соответствие в приведенных выше начальных строфах “Древней ночи вселенной”: явление “музы” в “таинственных долинах”, “пир молодых затей”, “детские веселья”, “сердца трепетные сны” (Пушкин, строфа I) – восставшая “душа”, парящая вокруг “холмов волшебных”, “сонм утех”, “мечта”, “мирные любви часы” и т.д. (Бобров, строфа I); “страстей... произвол”, “буйные споры”, “безумные пиры” и т.д. (Пушкин, строфа III)

– “ратница во шлеме”, “среди полей кровавых”, “бурна... брань”, “ужасны вести” (Бобров, строфа 2); “вдаль бежал”, “скалы Кавказа” и “берега Тавриды” и т.д. (Пушкин, строфа IV) – “как узница в дремоте”, “Киммерские горы” (т.е. Таврические), “черна бездна” (т.е. Черное море) и т.д. (Бобров, строфа 3); позабытый “блеск” столицы, “смирненные шатры”, одичание, забытая “речь богов”, “вдруг изменилось все кругом” (Пушкин, строфа V) – “ристаллище блестяще”, потеря сил, “горьки раны”, “век себя в себе сокрыла”, “прешли... часы очарования души” (Бобров, строфа 4); “И ныне Музу я впервые // На светский раут привожу...” (Пушкин, строфа VI) – “Уже зовут ее иные, // Важнейши поприща к полету...” (Бобров, строфа 5).

Как видно, здесь есть целый ряд чисто текстуальных соответствий, но более существенно точное совпадение количества отведенных на автобиографию строф (пушкинскую строфу о Державине здесь можно не учитывать), каждая из которых посвящена определенному этапу человеческой жизни: детство (мечты, утех) – юность (война, споры) – молодость (изгнание, творчество) – мужество (уединение, умудренность, изменение сознания)¹¹ – высший момент и итог жизни и поэзии (см. примеч. 1). В указанной Н.О. Лернером элегии Овидия эта кажущаяся такой естественной схема находит лишь частичное соответствие. В его поэтической автобиографии выделяются несколько иные этапы: детство (родители, учение), юность (друзья, честолюбие, стрелы Купидона), зрелость (несчастья в семье, старость (изгнание, утешения Музы) (см. “Tristium”, IV, 10). Бобров во вступлении к своей последней поэме, скорее всего, вдохновлялся примером Овидия, но, в отличие от него, написал не столько о своей жизни, сколько о творчестве¹². Пушкин же, по нашему мнению, последовал примеру Боброва, воспроизведя ту же, что у него, последовательность в расположении частей и ту же внутреннюю логику в своем лирическом отступлении. То есть, Бобров, как минимум, вновь оказался посредником между римским изгнанником и автором “Евгения Онегина”.

Соответствие пушкинской поэтической автобиографии вступлению к поэме Боброва трудно признать непреднамеренным, хотя на скорое узнавание этот прием вряд ли был рассчитан. “Древняя ночь вселенной”, в силу своего большого объема и особенностей сюжета и стиля, была

¹¹У Боброва эти этапы жизненного пути маркированы сравнениями: у него “душа” последовательно выступает как странница, как ратница, как узница, как одноборец.

¹²Среди стихотворений Боброва есть шуточная автобиография, в которой сообщается о месте его рождения, учебе в Москве, прибытии в Петербург и т.п. – “Выкладка жизни бесталанного Ворбаба” (8, ч. III, с. 151–154). Возможно, она также была навеяна элегией Овидия.

практически проигнорирована современниками: ее попросту не читали, тем более в 1820-е гг. Однако в библиотеке Пушкина она имела наряду с другими сочинениями Боброва [31, с. 12–13, № 36–39], а интересующий нас отрывок является началом поэмы (ему предшествует лишь прозаическое обращение “К другу души”), и если Пушкин хоть раз открыл имевшуюся у него книгу, то прочел именно его. Поэтому знакомство Пушкина с этим текстом, при наличии других установленных фактов его заинтересованного отношения к стихам Боброва, представляется более чем вероятным (пожалуй, маловероятно обратное). Возможно даже, что прочел он его именно в период работы над восьмой главой “Евгения Онегина” (декабрь 1829–сентябрь 1830). По крайней мере “Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы”, которые Л.В. Пумпянский связывал с поэзией Боброва (и его “Древней ночью вселенной”!) [32, с. 251], написаны вскоре после завершения романа – в октябре 1830 г.¹³

Как известно, у Пушкина заимствований и реминисценций (“плагиатов Пушкина”, по названию статьи М.О. Гершензона) из самых разных, порой весьма неожиданных авторов – множество. Но в нашем случае речь идет о заимствовании концепции собственной творческой и духовной эволюции, причем у поэта, Пушкину, в общем, чуждого. Поэтический смысл такой игры состоит в высвобождении и использовании жизнеспособного потенциала архаического литературного произведения (в этой связи достаточно напомнить пушкинское рассуждение о старинных романах и его прозаические сочинения). Однако в этом “похищении” из самой тяжелой поэмы тяжеловесного “Бибруса”, которого он высмеивал в лицейские годы (вслед за К.Н. Батюшковым), есть, кажется, и иной подтекст, отчасти психологического характера.

Едва ли Пушкин в чем-то, кроме общего адреса оставшейся в прошлом ссылки, мог видеть свою общность с автором “Тавриды” и “Древней ночи вселенной”. То же можно сказать и о сопоставлении собственной судьбы с участием Овидия. Знаменитый римский изгнанник и забытый публикой поэт-архаист оказались в его сознании связаны. И, заканчивая работу над начатым на юге романом, подводя итоги своей литературной деятельности, Пушкин внимательно отнесся к стихотворным излияниям испытанных ссылкой предшественников, когда-то подводивших итоги. Автобиографическое вступление к непонятой современниками и осмеянной поэме Боброва, последнему и любимому детищу ученого “архаи-

ста”, послужило своего рода “зеркалом” (комически или трагикомически искаженным), в котором автор “Евгения Онегина”, уже испытавший тогда охлаждение публики, увидел контуры своего прошлого и, возможно, хотел разглядеть будущее. В той же восьмой главе романа (на довольно большом, впрочем, расстоянии от автобиографического вступления) находится беглое замечание, напоминающее о бобровских “сетях ухищренья” на “ристаллище блестящем”. Это строфа XXXV, где описан круг чтения Онегина:

...И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene, господа. [1, т. VI, с. 183]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937–1949. Т. I–XVI.
2. Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
3. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Пособие для учителя // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995.
4. Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин” / Перевод с англ. СПб., 1998.
5. Лернер Н.О. Пушкинологические этюды. 16. Овидий в “Онегине” // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. [Т.] 5. М.; Л., 1935.
6. Альтшуллер М.Г. С.С. Бобров и русская поэзия конца XVIII–начала XIX в. // XVIII век. Сб. 6. Л., 1964.
7. Коровин В.Л. Семен Сергеевич Бобров. Жизнь и творчество. М., 2004.
8. Бобров С.С. Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфириноносных, браноносных и мирных Гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов. СПб., 1804. Ч. I–IV.
9. Томашевский Б.В. Пушкин. 2-е изд. М., 1990. Т. 2.
10. Винокур Г.О. “Бахчисарайский фонтан” // Винокур Г.О. Полное собрание трудов: Статьи о Пушкине. М., 1999.
11. Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л., 1986.
12. Ивинский Д.П. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М., 2003.
13. Морозов П.О. [Примечания] // Пушкин А.С. Сочинения: [В 5 т.]. СПб., 1912. Т. 3.
14. Винокур Г.О. Комментарии // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 9 т. М.; Л., 1935. Т. 5.
15. Бродский Н.Л. “Евгений Онегин”. Роман А.С. Пушкина. Пособие для учителя. Изд. 5-е. М., 1964.

¹³В другой своей известной работе Л.В. Пумпянский привел целый ряд параллелей из стихов Боброва к поэме “Медный всадник”, написанной тремя годами позже [33, с. 162–165].

16. Бобров С.С. Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе. Лирико-эпическое песнопение. Николаев, 1798.
17. Алексеев М.П. Пушкин и наука его времени // Алексеев М.П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984.
18. Бутакова В.И. Карамзин и Пушкин: (Несколько сопоставлений) // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. XXXVII. Л., 1928.
19. Шапир М.И. Пушкин и Овидий: Дополнение к комментарию ("Евгений Онегин", 7, LI, 1–2) // Известия РАН. Серия лит. и яз. 1997. Т. 56. № 3.
20. Овидий. Собрание сочинений: В 2 т. СПб., 1994. Т. 1.
21. Эллинические поэты VII–III века до н.э.: Эпос, элегия, ямбы, мелика / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М., 1999.
22. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. [2-е изд.] М., 1999.
23. Зайонц Л.О. "Маска" Бибруса // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 683. Тарту, 1986.
24. Зайонц Л.О. "Пьянствующие архаисты" // Новое литературное обозрение. № 21 (1996).
25. Коровин В.Л. Поэзия С.С. Боброва в творчестве Пушкина // Пушкин и русская культура (работы молодых ученых). Вып. 2. М., 1999.
26. Кр<ылов А.А.> Разбор "Херсониды", поэмы Боброва // Благонамеренный. 1822. Ч. 17. № 11, 12.
27. Вулих Н.В. Овидий // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XVIII–XIX. (Пушкин и мировая литература. Материалы к "Пушкинской энциклопедии"). СПб., 2004.
28. Асоян А.А. "Почтите высочайшего поэта...". Судьба "Божественной комедии" Данте в России. М., 1990.
29. Бобров С.С. Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец. Эпическое творение. СПб., 1807. Ч. 1. Кн. 1.
30. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры ("Происшествие в царстве теней, или судьбина русского языка" – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 358. Тарту, 1975. С. 168–322.
31. Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910 [репринт: М., 1988].
32. Пумпянский Л.В. Поэзия Тютчева // Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.
33. Пумпянский Л.В. "Медный всадник" и поэтическая традиция XVIII века // Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000.